

**Б. Л. ВАСИЛЬЕВ**

---

*НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ  
МОСКВА*

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
В19

Серия «Эксклюзив: Русская классика»  
Серийное оформление *Е. Ферез*  
Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

**Васильев, Борис Львович.**  
В19 Не стреляйте в белых лебедей: [роман] /  
Борис Львович Васильев. — Москва :  
Издательство АСТ, 2017. — 256 с. —  
(Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-104549-4

«Не стреляйте в белых лебедей» — роман, занимающий особое место в творчестве Бориса Васильева. Это история о Егоре Полушкине, добром и простодушном человеке. Прирожденный плотник, Егор не может удержаться ни на одной работе — неспешность, кропотливость, желание делать лучше мешают ему. Волей судьбы жизнь Полушкина меняется — его назначают лесником. На этом месте он находит себя и со свойственной ему самоотверженностью защищает родной лес, вкладывая всю душу в охрану стаи прекрасных белых лебедей.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-104549-4

© Б.Л. Васильев, наследники, 2017  
© ООО «Издательство АСТ», 2017

*Другу, с чьей помощью родилась эта книга,  
Нине Андреевне Красичковой  
посвящаю*

## **От автора**

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье — неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине — задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении — терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным — разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь — жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала въедливым, как комариный звон, голосом:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнил.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседуски сократили до первых двух слогов:

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну, кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная се-

стра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней — Тина и губки гузкой. А без нее — Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть:

— Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить — примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица — Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных — пять штук, костюмов суконных — два да костюмов джерсовых — три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчаный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка — дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит — что новое ведро. Во дворе — два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удоистая

корова — в дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили:

— Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со вкусом, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлах остатков некогда звонкого краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохран-ным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему

слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

— Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел — любо-дорого. Одно слово: голова. Хозяин. И держал себя в соответствии: не елозил, не шебаршился. И рублю и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

— Нет, не обротал ты жизнь, Егор: она тебя обротала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба — все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится?..

— Да, жизнь обротать — хозяином стать: так-то старики баивали.

— Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

— Топор ты в руках держать умеешь, не спорю.

Но — бессмысленно.

— Да уж. Это точно.

— Руководить тобою надо, Егор.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя — осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленные или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом — метельным, ознобистым — теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

— Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

— То исть как? — не понял Егор.

— Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

— Каждый день — и новое? — поразилась Тина.

— А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И мать божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его... в модерн.

— Да, ставит Федор Ипатыч дом — картинка. А старый освобождается: так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособиите, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать на-вострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона на-махаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

— Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеши. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом за-дарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал.

И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволоч: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

— Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

— Ну, и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый.

Помирились. В гости захаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

— Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

— Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

— А разве есть в тебе муштинство настоящее? Ну, скажи, есть?

— Дык ведь как... Вон баба моя...

— Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то — да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому — особо: хозяин.

— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

## 2

Но зато был Колька.

— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

— Ну, и глупо, что так, — ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). — Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.

— Ну, что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во все верил. Чего ни соврут, чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

— Ну-у?..

Простодушия в этом «ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был:

— Колька, ты чего тут сидишь? Тяжку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта торчат!

— А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

— Да куда ты, куда? Живой он, тятка твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятка его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

— Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже докторша удивилась:

— Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая

больно народилась-то — вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

— Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.

— Ункас...

— Чего?

— Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?

— Какого Ун... Ункасу?

— Последнего из могикан. Самого последнего, тятка!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

— Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться...

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубашке и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор

сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

— Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

— Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка — погодок, двоюродный братишка — только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости — от обиды. Сильно ревел, до трясушки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

— А он ему — хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

— Больно, поди! — вздыхал Колька.

— Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки — одна на все дни:

— Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну, все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

— Чего ж только по рублику?

— А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику — это ого! Знаешь сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

— Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

— Бесплатно?

— Так по улице же.

— Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

— Ты, Вовка, сквозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть сквозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал — уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятка сказал — значит, так оно и есть.